

The background of the cover is a detailed illustration. A young boy with light brown hair and a serious expression stands in the foreground, looking towards the right. He is wearing a light-colored, long-sleeved tunic with a dark belt. A longbow is slung over his right shoulder. He stands behind a pile of large, weathered logs. In the background, a vast, golden field stretches to a line of trees. In the distance, a group of riders on horseback is visible, kicking up a cloud of dust. The sky is filled with soft, white and grey clouds, suggesting a bright but slightly overcast day.

*Родоман. Книга первая. Сын
Смуты*

**Ольга
Вячеславовна Хилько**

Ольга Вячеславовна Хилько

**Родоман. Книга
первая. Сын Смуты**

«Автор»

2026

Хилько О.

Родоман. Книга первая. Сын Смуты / О. Хилько — «Автор»,
2026

РОДОМАН. Цикл из четырёх книг. XVII век. Россия поднимается из пепла Смуты — и снова идёт на войну. Григорий Ромодановский, восьмой сын боярина, погибшего в первых боях Смутного времени, не помнит отца. Знает только по словам матери, по строкам летописи, по молчанию братьев. Этому молчанию он и учится — служить тихо, смотреть внимательно, говорить мало. Книга первая — детство и школа. Кремль, местничество, степь, татары. Первый взгляд. Первая служба. Первый бой. Книга вторая — война с Польшей. Смоленск, Киев, баталии. Ромодановский — уже воевода. Строй, дисциплина, огонь. Он ведёт полки — и теряет друзей. Книга третья — мир и двор. Царь Алексей. Бояре. Интриги. Служба — не мечом, а словом. Терпение — тяжелее боя. Книга четвёртая — последний бой. Старый воевода, последний поход, последняя присяга. Круг замыкается: сын Смуты уходит, но земля остаётся.

© Хилько О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Отец»	5
Глава 2. «Кашин плен»	11
Глава 3. «Восемь братьев»	16
Глава 4. «Стольник»	23
Часть 1. Первый день.	23
Часть 2. «Школа»	28
Часть 3. «Поручение»	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Ольга Вячеславовна Хилько

Родоман. Книга первая. Сын Смуты

Глава 1. «Отец»

"Отец погиб. Сын подрос. Степь — вместо дома. Сабля — вместо слов. Мальчишка стал твёрже каменных гроз — Стеною. Соколом. Без лишних оков."

Деревья горели золотом. Стояло последнее бабье лето 1608 года, и земля между Воздвиженским и Рахманцевым — плоская, открытая, перерезанная мелкими речушками Сумерью и Талицей — казалась мирной. Дорога на Троице-Сергиев монастырь шла прямо, наезженная, утоптанная сотнями телег и копыт. По обе стороны — поля, скошенные, с остатками стогов; дальше — лес, рыжий, осинный, подступающий к самому тракту.

На этой дороге, в десяти верстах от монастыря, стояли три полка.

Большой полк — под командованием боярина князя Ивана Ивановича Шуйского, брата царя Василия — расположился на пригорке, ближе к речке Талице. Тенты, шатры, телеги, копы с кистями, кони на отводе. Тысячи людей — дворяне в кольчугах и зерцалах, стрельцы в кафтанах, казаки, пушкарки у затинных пищалей. Шуйский — тучный, рыжебородый, осторожный — сидел в шатре и ждал. Он всегда ждал.

Сторожевой полк, под началом Федора Головина, — правее, у кромки леса, прикрывая фланг от возможного обхода. Головин — молодой, горячий, из тех, что быют первым и думают потом. Его конница — новики, дети боярские, у каждого по одному коню и по одной пищали — стояла в овраге, лошади по колено в грязи.

А впереди — на самом острие, у деревни Рахманцево, перекрывая дорогу, — стоял Передовой полк. Им командовал боярин князь Григорий Петрович Ромодановский.

Шатер воеводы был прост — не шёлковый, как у Шуйского, а полотняный, серый, на верёвках. Внутри — лавка, стол, карта-чертёж, нарисованная углем на бересте. Полевой свечник чадил в углу. Пахло дымом, кожей, конским потом.

Григорий Петрович сидел на лавке, нога вытянута — старая рана, полученная ещё под Сапегой в прошлом году, ныла к холодам. Ему было под пятьдесят. Коротко стриженная седая борода, узкое лицо, глубокие морщины от глаз к вискам. Взгляд — тяжёлый, неподвижный, из тех, что останавливают людей на полслове. Он не кричал. Он — смотрел. Этого хватало.

Перед ним на столе лежал хлеб, лук, миска с кашей — нетронутые. Воевода ел мало. Война — не пир.

Полог шатра откинулся. Вошёл стремянный — парень лет двадцати, без шапки, лицо красное, запыхавшееся.

— Боярин! — выдавил он. — Сторожевые разъезды... Сапега идёт!

Григорий Петрович поднял глаза. Не быстро. Не вскочил. Взял черствый край хлеба, откусил, прожевал. Потом спросил:

— Сколько?

— Не сочли! — Стремянный сглотнул. — Конница — много. Пехота — тоже. С востока, от Воздвиженского. Идут по тракту.

— Как идут? Строем или стадом?

— Строем, боярин. С знамёнами. Пушки ташат.

Хлеб доеден. Воевода встал, потянулся — не разминаясь, а проверяя, слушает ли тело. Слушало. Нога — болит, но держит. Рука — левая, та, что саблю — — тверда. Он накинул кафтан, вышел.

Снаружи — осенний ветер, пахнувший прелой листвой и дымом полевых кухонь. Полк — около четырёх тысяч — стоял на отдыхе. Дворяне сидели у костров, чистили оружие, точили сабли. Кто-то спал, укрывшись тулупом. Стрельцы — в своих порядках, с пищалями и бердышами — грели руки у огня. Пушкарки — у шести полевых орудий — лениво дымили трубками.

Ромодановский прошёл к краю лагеря, где дорога уходила к Воздвиженскому. День клонился к вечеру, солнце било низко, и тени от всадников, что маячили вдалеке, ложились длинные, неестественные.

— Зови сотников, — сказал он стремянному. — И Андрея — пошли ко мне.

Андрей — старший сын, девятнадцать лет — явился через минуту. Высокий, **в отцовском лице**, только без седины: борода русая, мягкая, ещё не загрубевшая. Кольчуга, сабля, пищаль за спиной. Глаза — живые, нетерпеливые. Он ждал боя — весь ждал, с утра, с тех пор как встали лагерь.

— Сапега идёт, — сказал отец. — С востока. Полки Лисовского, Микулинского, Вилямовского, Стравинского — все. Тысяч десять, может, больше. У них пушки. У нас — шесть.

— Возьмём, — сказал Андрей. Улыбнулся.

Григорий Петрович посмотрел на него. Долго. Потом отвернулся.

— Не торопись. Тысяч десять — это не Сапега один. Это Лисовский. А Лисовский — хитёр. Он бьёт не там, где ждёшь, а там, где не ждёшь.

— Отец...

— Слушай. Большой полк Шуйского — на пригорке. Если Сапега пойдёт в лоб — Шуйский удержит. Сторожевой полк Головина — на фланге. Если Сапега обойдёт — Головин ударит с боку. Наш полк — впереди. Мы — щит. Мы держим дорогу.

— А если Сапега ударит по нам?

— Тогда — держим. Пока Шуйский не подойдёт.

— А если Шуйский не подойдёт?

Отец не ответил. Сказал другое:

— Будь рядом. Не отъезжай. Делай, что я скажу.

Через четверть часа — совет. Сотники собрались у шатра. Десять человек — дворяне, отставные стрелецкие головы, один немец-наёмник, командир пушкарей. Все — в кольчугах, кто-то в наспех наброшенных зерцалах. Лица — серьёзные, но не испуганные. Эти люди воевали не первый год.

Ромодановский говорил коротко, без лишних слов:

— Сапега — не дурак. Он знает, что мы здесь. Знает, что три полка. Он пойдёт — но не в лоб. Лисовский — слева, через лес. Лисовский любит обходить. Микулинский и Вилямовский — в центре, по тракту. Стравинский — сзади, в резерве.

Немец-наёмник — Фридрих, пожилой, с шрамом через всё лицо — спросил через переводчика:

— Откуда знаешь, что Лисовский слева?

— Потому что Лисовский всегда слева, — ответил Ромодановский. — Он так ходил под **Болховом**. Так ходил под Коломной. Так будет и здесь. Он не меняется.

Сотники переглянулись. Один — Меньшой Кологривов, опытный, седой — спросил:

— Что делать будем?

— Пешим — окопаться. Врыться в землю. Копать ров, ставить телеги в ряд. Пушки — вон туда, — Ромодановский ткнул пальцем на чертеже, — на бугорок, слева от дороги. Бьют по тракту и по опушке леса. Коннице — не лезть вперёд. Стоять за телегами. Ждать.

— Ждать? — переспросил Андрей. В голосе — разочарование.

— Ждать, — повторил отец. Тихо. И от этого «тихо» стало ясно: спорить — нельзя.

— Они придут. Они увидят, что мы окопались. Они начнут обстрел — из пушек, из пищалей. Будет шум, дым, ядра. Страшно. Потом — конница. Лисовский — с леса, по нашему левому флангу. Поляки — с тракта, в лоб. Задача — держать. Не бежать. Не бросаться. Держать.

Он обвёл всех взглядом.

— Держим мы — подойдёт Шуйский. Подойдёт Шуйский — мы их раздавим. Не удержим — всё пропало.

Копали ночью.

Крестьянских лопат хватило на двадцать. Стрельцы рыли землю — сухую, мёрзлую уже, ноябрьская стужа подступала. Ров — неглубокий, по колено, но достаточный, чтобы конь споткнулся. Телеги выстроили в три ряда, вязали дышлами, между ними — заслон из жердей и снопов. Пушки втащили на бугорок, развернули, навели на дорогу.

К утру — холод, туман с речки Сумери, изморозь на траве. Люди не спали. Костры — дымные, низкие, не разгорались от сырости. Стрельцы грели руки, дули на них, кутались в кафтаны. Кони переступали, фыркали. Пахло дымом, железом, кислинкой навоза.

Андрей подошёл к отцу. Тот стоял у телеги, смотрел на восток — туда, где за туманом, за полем, ждал Сапега.

— Батюшка, — Андрей помедлил. — А если... если я паду?

Отец не повернулся. Долго молчал. Потом сказал:

— Встанешь.

— А если не встану?

— Тогда — лежи. Земля примет. А я — доем.

И ушёл. К пушкам. Проверять лафеты, наводку, прицел. Андрей стоял у телеги и смотрел вслед. Лицо — белое в тумане.

Они пришли утром.

Сначала — звук. Далёкий, глухой, как гром за горой. Барабаны. Сапега любил барабаны — литовские наёмники шли под барабан, и этот звук гнал их вперёд, как плеть.

Потом — из тумана, медленно, как морок — знамёна. Польские хоругви — белые, красные, с гербами. Казацкие значки — синие, жёлтые. И — конница. Много конницы. По тракту, по полям, по опушке леса.

Ромодановский стоял на бугорке, у пушек. Смотрел.

Сапега шёл грамотно. Не в лоб — нет. Лисовский — слева, через лес, как и предсказал воевода. Его казаки — лёгкие, быстрые, без доспехов — просачивались сквозь подлесок, как вода сквозь решето. По центру — Микулинский и Вилямовский, по тракту, конница плотным строем. Стравинский — сзади, в резерве. Пехота — мало, человек триста, но пушки — да, четыре или пять полевых орудий, тащат по дороге.

— Идут, — сказал Андрей. Он стоял рядом, с пищалью, бледный, но не дрожал.

— Вижу, — ответил отец. — Стрельцам — не стрелять. Пусть подойдут. Бить с пятидесяти саженей.

Первыми ударили поляки. Микулинский — по тракту, конница, четыре хоругви. Плотным строем — копыта опущены, лошади — рысью, потом — галопом. Земля дрогнула. Копыта — топ, топ, топ — и этот звук нарастал, как камень с горы.

Стрельцы — за телегами, за рвом — ждали. Стояла тишина. Только кони фыркали и кто-то молился — губы шептали, руки сжимали пищали.

— Не стрелять! — крикнул сотник. — Не стрелять!

Поляки — ближе. Сорок саженей. Тридцать. Лица видны — бороды, шлемы, польские «крылья» за спиной — шешек, треск, свист.

— Пали!

Шесть орудий — залп. Картечь. На тридцати саженьях — стена шрапнели, свинца и железа. Первая шеренга — смята. Лошади — в мыле, в крови, падают, давят своих. Кони без всадников — мечутся. Крик, ржание, выстрелы.

Стрельцы — вторым залпом. Пищали — из-за телег, через щели. Дым — белый, едкий, глаза слезятся. Перезарядка — медленно, страшно медленно. Порох на полке, огниво, фитиль. Десять секунд на выстрел. Поляки не ждут.

Вторая шеренга — через тела первых — рубит телеги. Копья — в доски, сабли — по жердям. Конь — через ров, спотыкается, падает, всадник — через голову, на землю, и стрелец — бердышом — по шее. Кровь на траве, на телегах, на руках.

Ромодановский — на бугорке, верхом. Не рубится. Смотрит. Видит — Микулинский отступает. Первая атака — отбита.

Но — Лисовский.

Лисовский ударил слева, из леса. Не по телегам — нет. Он обошёл. Его казаки — через овраг, по дну, незаметно, в тумане — вышли в тыл сторожевому полку Головина. Двести человек. Тихо. Без криков. Сабли наголо.

Головин не ждал. Его полк — на фланге, лицом к тракту, к полякам. А Лисовский — сзади.

Первый залп — казачьи пищали — в спину. Десять всадников — с лошадей. Паника. Головин — молодой, горячий — разворачивает конницу. Но поздно. Казаки — уже в строю. Рубят. Кричат: «Сдавайся! Царь Дмитрий милостив!»

Головин — не трус. Он рубится. Но его полк — новички, молодые, необстрелянные — дрогнул. Первые — побежали. Потом — вторые. Потом — все. Сторожевой полк, как подкошенный, рассыпался и — побежал. Налево, к лесу, к Большому полку Шуйского. Бежали — не разбирая дороги, давя своих, бросая оружие.

И — подмяли.

Шуйский — на пригорке — увидел бегущих. Его полк ещё не вступил в бой. Но Головинские беглецы — обезумевшие, с выпученными глазами — врезались в его ряды. Смяли. Расстроили. Офицеры кричали, били кнутами — бесполезно. Паника — заразна.

А на дороге — передний полк — держался.

Ромодановский видел: Головин побежал. Шуйский смешался. Помощи не будет. Он — один. Четыре тысячи против десяти. И — поле, открытое, без укрытия, кроме телег и рва.

— Князь! — крикнул Кологривов. — Сторожевой побежал! Шуйский дрогнул! Что делаем?

— Стоим, — ответил Ромодановский.

— Но...

— Стоим.

И стояли.

Поляки — Микулинский, отступивший было — вернулись. Теперь — смело, видя, что фланг открыт. Вилямовский — с другой стороны. Лисовский — из леса, с тыла. Три стороны. Четвёртая — речка Сумерь, мелкая, но грязная, не перейти.

Сапега — на холме, в стороне, наблюдавший — увидел. И решился.

Ян Пётр Сапега — литовский гетман, магнат, человек войны — был ранен. Лицо — разбито, щека — рассечена, кровь по бороде. Его передовая атака отбита. Его пушки захвачены русскими. Его полки — Микулинский, Вилямовский — потрепаны. Лисовский — увлёкся погоней за Головиным, оторвался. Стравинский — в тылу, не двигается.

Положение — отчаянное. Русских больше. Русские окопались. Его наёмники — устали, голодны, далеко от дома.

Но Сапега не ушёл. Не потому что не мог — потому что не хотел. Он сказал — и польский дневник сохранил эти слова:

— Отечество далеко. Спасение и честь — впереди. А за спиной — стыд и гибель.

Он собрал последнее. Две роты гусар — тяжёлую конницу, в латах, с крыльями, на огромных конях. Две хоругви панцирных — средняя конница, в кольчугах, с пиками. Человек триста. Все, что осталось.

— За мной, — сказал он. И — пошёл.

Они ударили — не по телегам. По флангу. Туда, где ров кончался, где стрельцы стояли без прикрытия. Гусары — стеной, копья на уровне груди, лошади — тяжёлые, бьют копытами, несутся, как бревно, как волна.

Первый ряд стрельцов — смят. Просто — смят. Копьё — в грудь, лошадь — в строй, копыто — в лицо. Залп — пищалью — в упор, гусар падает, но конь — по инерции — врывается в строй, ломает, крушит.

И — побежали.

Не передовой полк. Другие. Те, кто стоял рядом — на фланге, без рва, без телег. Бежали — кто куда. Бросали пищали, бердыши. Лошади — без всадников, в мыле. Крики, стоны, давка.

Андрей — рядом с отцом — увидел бегущих и рванулся вперёд.

— Стоять! — крикнул Григорий Петрович. — Стоять, вам говорю!

Но Андрей — не слышал. Или — слышал, но не послушал. Он — выскочил из-за телеги, с саблей, и — рубил. Первого — по плечу. Второго — по руке. Третьего — — — и не успел.

Копьё. Длинное, с железным наконечником, из-за гусара, сбоку. В бок, под кольчугу, между пластин. Андрей — охнул. Согнулся. Копьё — вытащили, с кровью, с чем-то ещё. Он осел — на колени. Потом — лицом в траву.

Григорий Петрович — увидел.

Всё вокруг — крик, дым, выстрелы, ржание — всё — остановилось. Как будто кто-то выдернул звук из мира. Он видел — сына, на земле, лицом вниз, руки — раскинуты, сабля — в стороне, в траве. Спина — неподвижна. И — тёмное, мокрое, расплзающееся по кафтану.

Он — не побежал к нему. Не закричал. Не упал на колени.

Он — стоял. Сжимал поводья. Костяшки — белые. Лицо — камень. Глаза — мокрые, но слёзы — не текли. Не сейчас. Не здесь.

Потом — война.

Бой продолжался ещё час. Передовой полк — четыре тысячи — бился. Один, без поддержки, окружённый с трёх сторон. Ромодановский — на коне, в гуще, рубился. Саблей — тяжело, методично, без замаха, как дровосек. Удар — отдёргнул. Удар — отдёргнул. Не красовался. Не кричал. Просто — убивал.

Его полк — умирал. Сотни — пали. Раненых — давили свои и чужие. Телеги — сломаны. Пушки — захвачены поляками, развёрнуты, бьют в спину. Но — не побежал. Передовой полк — не побежал.

Когда стемнело — Рахманцево поле — заваленное телами, копьями, мёртвыми лошадьми, разорванными знамёнами — затихло. Сапега — не преследовал. Его люди — устали, измотаны, потеряли слишком много. Он снялся и ушёл — к Троице, к монастырю, который и должен был осаждать.

Ромодановский — остался.

Он нашёл Андрея в темноте. На ощупь. По кафтану — по вышивке на воротнике, которую мать сделала. Лицо — холодное, белое в свете луны. Глаза — открыты, но не видят. Кровь — запеклась, чёрная.

Григорий Петрович — стоял над ним. Долго. Слуги ждали поодаль, боялись подойти.

Потом — опустился на колено. Приложил руку — к лицу сына. К холодному лбу. Тихо, без слов, без рыданий, — как молился. Или — прощался.

Снял с себя перстень — отцовский, с печаткой — и надел Андрею на палец. Бесполезно, мёртвому, но — так делали. Так — прощались.

Потом — встал. Обернулся к стремянному.

— Обернуть. Отвезти — к матери. Не здесь хоронить. Не в поле.

И — пошёл к коню. Хромая. Нога снова не слушалась. Потом — остановился. Сказал, не оборачиваясь, так, что слышали только те, кто стоял рядом:

— Дома ещё шестеро. А этот — первый.

В летописи останется: «В том же бою многую храбрость и мужество показал боярин и воевода передового полка князь Григорий Петрович Ромодановский; тут же у нево и сына его убиша князя Андрея».

А через двенадцать лет, в 1620 году, у него родится последний, восьмой сын. Его назовут Григорием. И он никогда не увидит отца живым — только услышит о нём. Из слов матери. Из строк летописи. Из молчания братьев.

Именно с этим молчанием — он и проживёт всю свою жизнь.

Глава 2. «Кашин плен»

Кашира стояла на левом берегу Оки, там, где речка Каширка впадала в большую воду. Место было старое — первое упоминание ещё в 1356 году, при Иване Красном. Крепость — деревянная, с земляными валами, восемь башен — была отстроена заново в 1531 году, при Василии III. Но к 1609 году от неё осталось немного: крымский хан Девлет-Гирей прошёл здесь огнём в 1571-м, потом — голод, потом — мор, потом — Смута. Город запустел. Стены подгнили, башни покосились, ров осыпался. Люди — те, кто остался, — жили не в крепости, а вокруг неё, в слободах: Никитской, Рыбной, вдоль берега Оки. Два-три сотни дворов, не больше.

Война здесь не ходила — но проходила мимо, и каждый раз оставляла след. Поляки Лисовского стояли на правом берегу Оки, напротив Каширы, ещё в 1608-м — у села Кропотово, где остатки древнего городища превратили в укреплённый лагерь. С этого берега на тот — выстрел из пищали, если ветер попутный. Татары — из степи, с юга, налетали, уходили. Государева власть — то Шуйский, то тушинский вор — менялась, как погода в марте: сегодня солнце, завтра — снег, послезавтра — грязь по колено.

В этот запустевший город, осенью 1609 года, царь Василий Шуйский и прислал воеводой боярина князя Григория Петровича Ромодановского.

Воеводский двор стоял на холме, внутри крепости, ближе к Троицким воротам. Дом — рубленый, из тёсаных брёвен, с крыльцом на резных столбах, с горницею и поварней, с подклетью для припасов. Рядом — конюшня, баня, амбар, сарай для телег. Двор обнесён забором из жердей. У ворот — два стрельца с бердышами. Не охрана — так, для виду. Стрельцы — пожилые, бородатые, в латаных кафтанах, с пищальми, что стреляют через раз.

Григорий Петрович приехал в Каширу с малым обозом: двадцать человек дворни, четыре телеги с припасами, стремянный, два писаря и повар. Маленький отряд для боярина, большого отряда не дали — в Москве каждый воин на счету, Шуйский и сам-то еле держался.

В первый же день воевода поднялся на крепостной вал. Смотрел.

Ока — широкая, серая, медленная. Левый берег — пологий, луга, скошенные, с остатками стогов. Правый — крутой, высокий, лес. Там, за рекой, за лесом — поляки. Может, далеко, а может — близко. Туман — не разберёшь. Ветер с реки — холодный, пахнущий тиной и рыбой.

Крепость — плохая. Валы осыпались. Башни — две из восьми — покосились так, что того и гляди рухнут. Стена между Троицкими и Пречистенскими воротами — прогнила, в щелях растёт трава. Орудий — три пищали на лафетах, старых, ржавых, и одна затинная — на стене, у Пречистенских ворот. Заряды — есть, порох — сырой.

Стрельцов в гарнизоне — сорок человек. Детей боярских — пятнадцать, из местных помещиков, почти мальчишки. Пушкарей — четверо. И — население города: торговые люди, ремесленники, крестьяне из окрестных сёл. Все — напуганные, голодные, злые.

Ромодановский стоял на валу, смотрел на всё это и молчал. Стремянный — тот самый, что был с ним под Рахманцевом, когда погиб Андрей, — стоял рядом, тоже молчал. Он привык.

— Скверно, — сказал наконец воевода.

— Скверно, — согласился стремянный.

Прошла неделя. Две. Ромодановский делал что мог: чинил стену — мужиками, горожанами, нехотя, под кнутом. Сушал порох — рассыпал на холсте у огня, по горсти. Проверял пищали — стрелял в цель у оврага, две из трёх — били мимо. Учил стрельцов — построил в ряд, показал, как держать бердыш, как заряжать, как стоять под обстрелом. Не теорией — он сам стоял рядом, ждал залпа, не дрогнув. Стрельцы — смотрели и — крепились. Видно

было: боярин — не трус. И не барин-приказчик, что сидит в горнице и шлёт бумажки. Он — на валу, в грязи, рядом.

Но — город не держался. Не стены — город. Люди.

А люди были разные.

Поп Герасим — белый, седой, тихий — служил в Успенской церкви, внутри крепости. Каждый день — литургия, каждый день — молился за царя Василия. Когда Ромодановский пришёл в церковь в первое воскресенье — поп встретил его поклоном, провёл к месту, сказал после службы: «Боярин, народ — смутный. Помни про Коломну».

Коломна — пала. Две недели назад. Сотник Бобынин поднял народ — не слушал епископа Иосифа, что умолял не предавать царя. Народ кричал: «Лучше служить Дмитрию, нежели Сигизмунду!» Воеводы коломенские — князь Туренин и Долгорукий — «в ужасе сами присягнули обманщику». Так писал Карамзин. И из Коломны — грамоты. В Каширу. В Зарайск. «Целуйте крест вору — или мы придём».

Ромодановский знал. Читал грамоты — те, что присылал Лжедмитрий из Тушина, и те, что присылал Шуйский из Москвы. Первые — льстивые, обещали «жалованье и вотчины». Вторые — грозные: «Не изменяй, боярин, крест целовал». Он — целовал. Шуйскому. И не собирался изменять.

Но — город.

Старший в городе — Савва Прокудин, богатый торговый человек, бородатый, крикливый, из тех, что в любом городе держат вес: у них — деньги, у них — склады, у них — связи. Прокудин — был такой. Кашира — маленькая, все друг друга знают. Что Прокудин скажет — то и будет.

К воеводе Прокудин приходил дважды. Первый раз — с поклонами, с мёдом, с речами: «Служим, боярин, рады служить». Второй — без мёда, с жёсткими словами: «А если царь Василий — не царь? Если его — того? В Москве — смута, в Тушино — царь, поляки — рядом. Кому служить?»

Ромодановский ответил: «Мне. Пока я здесь — служите мне. А я — служу царю Василию. Крест целовал».

Прокудин ушёл. Не поклонился.

В четверг, на второй неделе октября, из Коломны пришёл гонец. Не один — с грамотой от тушинского «царя Дмитрия Ивановича» и с двадцатью казаками. Казаки — лихие, в шапках, с саблями, наглые. Прискакали на двор воеводский, кричат: «Где воевода? Царь Дмитрий жалуется!»

Ромодановский вышел на крыльцо. Посмотрел. Спросил:

— Какой царь?

— Царь Дмитрий Иванович! — ответил старший казак. — Истинный государь всея Руси! А ты, боярин, чего сидишь? Крест целуй!

— Царь Дмитрий помер, — сказал Ромодановский. Тихо. — Убит в Москве, в мае 1606 года. Тело — сожжено. Прах — зарыт. Другого царя Дмитрия — нет. Есть — вор. А вору я не кланяюсь.

Тишина. Казаки — переглянулись. Старший — сплюнул.

— Боярин, — сказал он, — ты один тут. В Москве — царь Дмитрий. В Коломне — целовали. В Кашире — целуют. Один ты — упираешься. Долго ли?

— Пока жив, — ответил Ромодановский.

Казаки уехали. Грамоту — бросили на крыльце. Ромодановский не поднял. Стремянный поднял — потом, когда все ушли. Боярин — стоял на крыльце, смотрел вслед. Лицо — камень.

Следующий день — пятница — прошёл тихо. Слишком тихо. Рыбная слобода — на берегу Оки, у самого подножия крепостного холма — обычно шумела: бабы полоскали бельё,

мужики чинили сети, ребятишки бегали. В пятницу — тихо. Ни одной бабы. Ни одного ребёнка. Сети — на берегу, брошены.

Ромодановский послал стремянного — узнать. Тот вернулся через час, лицо — серое.

— Боярин... в слободе — сход. Весь город. На площади у Никитской церкви. Прокудин — речь говорит. Про вор. Про присягу. Про то, что каширянам — всё равно, кто царь, лишь бы — не поляки.

— А поляки — где?

— За Окой. Близко. Прокудин говорит — Лисовский — вёрстах в пяти. Если присягнём — не придут. Если нет — придут — и всех — под меч.

Ромодановский молчал. Долго. Потом:

— Стрельцов — собрать. Всех. У ворот — стоять. Мне — коня.

Он поехал один. Не считая стремянного — тот позади, на расстоянии вытянутого копья.

Никитская площадь — маленькая, утоптанная, с церковью на краю, с торговыми рядами — брошенными, с пустыми лавками. Народу — много. Три сотни, может — больше. Мужики, бабы, ребятишки на руках. Стрельцы — из гарнизона — тоже здесь, без бердышей, в шапках набекрень. Савва Прокудин — на крыльце церкви, на возвышении, — говорил.

Ромодановский остановил коня у края толпы. Его — увидели. Шум — стих. Не сразу — волной, от первых рядов к последним, как ветер по хлебам.

Прокудин — обернулся. Лицо — красное, потное. Борода — тряслась. Он — боялся и не боялся, одновременно. Толпа — за ним. А боярин — на коне, с саблей, один.

— Боярин! — крикнул Прокудин. — Народ решил! Целуем крест царю Дмитрию!

— Кому — царю? — голос Ромодановского — тихий, но площадь маленькая, все слышали. — Вору — целуете крест?

Толпа — загудела. Кто-то сзади: «Не наш он, боярин! Москвичи — и те целовали!»

— Москвичи — под пищалью целовали! — ответил Ромодановский. — А вы — добровольно?

— А что — добровольно! — крикнул другой голос. — Жить надо! Дети — голодные!

И — пошло. Голос — голос. Крик — крик. Толпа — заколыхалась, подалась — к коню. Кто-то схватил — за повод. Конь — заржал, метнулся. Ромодановский — ударил саблей — плашмя, по рукам. Кто-то — упал, откатился. Крик — выше.

— Боярин! Не противься! — Прокудин, с крыльца, суетливо. — Не то — беда!

— Беда — вам, — ответил Ромодановский. — Не мне. Я — крест целовал. Царю Василию. И — не отступлю.

Камень. Брошенный — сзади, из толпы. Мимо. Второй — в бок коня. Конь — встанет на дыбы. Всадник — удержался, но — еле.

И тогда — из толпы — мужики. Трое, четверо, пятеро. Бородатые, в зипунах, с дубинами. Не стрельцы — горожане. Схватили коня — за уздцы, за ноги. Тянули — вниз.

Ромодановский упал. Не упал — стацили. Конь — вырвался, ускакал. Боярин — на земле, в грязи, среди ног. Удар — дубиной — по плечу. Второй — по спине. Сабля — выбита из рук. Сапог — в бок.

Он — не кричал. Не просил. Не молил. Лежал, прикрыв голову руками, и молчал. Так — как делал всю жизнь: тихо, упрямо, без крика. Стремянный — рванулся, но — кто-то держал, двое, крепко.

— Бейте! — крикнул кто-то.

— Не бить! — Прокудин, с крыльца, перепуганный. — Не бить! Живым бери! Живой — нужен!

Его — подняли. Двое — под руки, третий — сзади, толкают. Повели — к крыльцу. Ноги — волоком, по утоптанной земле. Кафтан — рваный, в грязи. Лицо — в крови, с разбитой губы.

Принесли крест. Деревянный, из церкви Никитской, простой, с потемневшим от лобзаний ликом. Поставили — на крыльце, перед боярином.

— Целуй, — сказал Прокудин.

Ромодановский — стоял. Двоё держали. Третий — сзади, с дубиной. Кровь — с губы, по подбородку, на кафтан. Глаза — тяжёлые, неподвижные. Он — смотрел на Прокудина. Не на крест — на Прокудина.

— Ты, Савва, — сказал он. Голос — хриплый, тихий. — Ты — крест целовал. Василию. Я — помню. Ты — помнишь?

Прокудин — отвёл глаза. Промолчал.

— Целуй, боярин, — повторил кто-то из толпы. — Не губи себя.

Долгая пауза. Ока — течёт за слободой, гуси кричат на отмели. Ветер — холодный, с запахом дыма и гнилой рыбы.

Ромодановский — наклонился. Поцеловал крест. Сухими, запёкшимися губами. Без слова. Без слёз.

Толпа — выдохнула. Кто-то — засмеялся. Кто-то — перекрестился. Прокудин — отёр лоб рукавом.

Боярина — отпустили. Он — стоял, шатаясь. Потом — выпрямился. Посмотрел на всех — медленно, по очереди, каждого — в лицо. Запомнил.

И — ушёл. Пешком, потому что конь — ускакал, а стремянный — прибежал потом, бледный, с поводом в руках. Вместе — молча, к воеводскому двору. У ворот — два стрельца, с бердышами, что стояли — и не двинулись, не вступились, не помогли. Боярин — прошёл мимо, не взглянул.

Ночь. Воеводский дом. Горница — тёмная, лучина в светце, коптит. Пахнет — дёгтем, кровью, мятой (стрелянный приложил к разбитой губе). За окном — Ока, тихая, чёрная. Собаки — лают где-то далеко, в слободе. И — тишина. Тяжёлая, ноябрьская.

Ромодановский сидел за столом. Не ел. Не лежал. Сидел — и писал.

Писарей — не звал. Писал сам. Пером, на бумаге — дорогой, дефицитной, последний лист из привозного запаса. Почерк — твёрдый, скоропись, привычная. Бояре писали сами, если дело — личное.

Письма Смутного времени — не похожи на литературу. Они — короткие, деловые, с одним вопросом: жив ли? И с одним ответом: жив. Всё остальное — между строк.

Он писал:

«Государыне моей, княгине Марфе, боярина твоего, князя Григория Петровича, челом бьет.

Жив есмь. Здрав, кроме ушиба. Каширяне меня — присяге Тушина принудили. Не совести ради — живота ради. Нельзя мне было — умереть. Не с моими. Дома — шестеро. А седьмого — Бог прибрал.

Я — жив. Присягнул — вор. Клятва, взятая силою, — не клятва. Бог — видит. Ты — знай.

Смута — пройдёт. Вор — не усидит. Поляки — не навек. А мы — останемся. Крепи детей. Пиши — чаще. О здоровье, о дворе, о вотчинах. Мне — недосуг писать долго. Служу — как умею.

Целую. Григорий».

Свернул. Запечатал — Стремянному — отдал:

— В Москву. С первым оказией. Не с казаками — со своими. С торговым ли человеком — кому веришь. Дашь — полтину. Прочтёт — только она. Упадёт — в огонь. Не дай читать — никому.

Стремянный — кивнул. Спрятал письмо за пазуху. ушёл.

Ромодановский остался один.

Сидел. Смотрел — на свечу. Лучина — догорала. Тень — по стене, длинная, качалась. Вспомнил — Андрея. Год назад. Тело — на траве, лицом вниз. Сабля — в стороне. Кровь — чёрная, запекшаяся. И — слова: «Дома ещё шестеро. А этот — первый».

Шестеро. Два — дома, при матери, маленькие ещё. Василий Большой — в Москве, боярствует. Иван Молчанка — на службе. Пётр — где-то, на юге. Василий Меньшой — совсем юн, при дворе.

Всё — разваливается. Царь — слабый. Вор — близко. Поляки — за рекой. Кашира — присягнула. Он — присягнул. Силою. Но — присягнул. Клятва — на бумаге. В Разрядном приказе — запишут. Потом — спросят: «Ты — присягал? — Присягал. — Вор? — Вор». И — что? Что — ответишь?

«Бог видит», — написал он жене. А Бог — видит? Видит — что его — били? Что — на земле валяли? Что — мужик с дубиной — по спине? Боярина? Рюриковича? Видит. Знает. И — молчит. Как — он сам.

Наутро — тихо. Город — живёт, как будто ничего не было. Бабы — на реке, полоскают. Мужики — чинят сети. Прокудин — открыл лавку, торгует. Савва — Прокудин — Торговал солёной рыбой и пеньковой верёвкой, будто ничего не было, будто не он вчера стащил боярина с коня и заставил целовать крест мертвеца.

Ромодановский — вышел на крыльцо. Лицо — синее, губа — разбита, спина — болит. Но — стоит прямо. Посмотрел — на город, на реку, на правый берег, где — за лесом — ждал Лисовский.

Стремянный — подвёл коня. Боярин — сел. Поехал — к крепости. К валу. Смотрел — на стену, что чинил. На башню, что покосилась. На ров, что осыпался. На пищали, что стреляли мимо.

Будто — ничего. Будто — не его — били. Будто — не он — целовал крест вору.

Служба — продолжалась.

А через год, в июле 1610-го, Шуйского свергнут. Бояре — присягнут королевичу Владиславу. Все — присягнут: Мстиславский, Воротынский, Трубецкой, Голицын, Романов, Шереметев. Ромодановский — тоже. Потому что — нечего больше беречь. Клятву — давали Тушина, силою. Клятву — дают Владиславу, всею землею. Земский собор. Триста тысяч — целуют крест. На Сухаревом поле. Под барабаны, под пушки.

Он — целует. Как все. Без протеста. Без крика. Потому что — понимает: сопротивляться — толпе — нельзя. Толпа — не враг. Толпа — народ. А народ — это — земля. И — служат — не лицу. Земле.

Этому — он и научится. Этому — научит сыновей. А они — научат своих. И последний, восьмой, тот, что родится в 1620-м, через два года после смерти отца, — скажет это — своими словами:

«Служи земле, а не лицу. Лица приходят и уходят. Земля — остаётся».

Но это — будут не его слова. Это — будут — отцовы.

Глава 3. «Восемь братьев»

Лето выдалось сухое, жаркое. Река Тара обмелела так, что в брод переходили, замочив только полы кафтанов. Село Иваново — двадцать дворов, церковь Преображения Господня с зелёной главкой, господский двор на холме, амбары, гумно, конюшня — стояло над рекой, как стояло последние сто лет. Тихое место. Суздальский уезд, Стародуб-Ряполовский стан — земля, которая помнила ещё князей Стародубских, прадедов, которые тут охотились, тут пахали, тут рожали сыновей и хоронили отцов.

Кузница на отшибе, у дороги, дымила с утра. Кулачный двор — пустой, трава по колено. Пруд — заросший ряской, тёплый, зелёный. Воздух — пахнет сеном, пылью, яблоками из монастырского сада за оврагом. Куры — под крыльцом. Псарь — на лавке, спит. Лошади — в загоне, лениво отмахиваются хвостами от слепней.

Тихо. Мирно. Словно и не было Смуты — хотя с неё прошло всего двенадцать лет, и все, кто здесь жил, помнили её: кто — потерял отца, кто — брата, кто — дом, кто — всё сразу.

Грише — пять.

Маленький, тонкий, в длинной рубаше до пят — так одевали мальчиков до семи лет, без портков, без сапог, босиком. Волосы — русые, стрижены в кружок. Глаза — серые, серьёзные, не детские. Он мало смеялся. Мать говорила: «Серьёзный, как батюшка». И — крестилась. Потому что батюшка — далеко, в Новгороде, на воеводстве, и уже третий год не был дома.

Гриша не помнил отца. Не помнил — как тот уезжал. Не помнил — его лица. Только — голос: низкий, тихий, и — рука, большая, тёплая, которая один раз — всего один, когда ему было три — погладила по голове. Рука — пахла кожей, железом и конским потом. Этот запах он помнил. Остальное — нет.

Он знает мать. Мать — всегда. Марфа — невысокая, полная, в тёмном сарафане, в платке, повязанном по-старичьему. Лицо — круглое, мягкое, но — со складкой между бровей, которая появлялась, когда она думала о чём-то тяжёлом. Она — всегда думала о чём-то тяжёлом. С тех пор как батюшка уехал в Новгород — три года назад. Писал — редко. Гонцы приезжали — нечасто. Весточки — короткие: «Жив. Здрав. Служу. Детей — целую».

В то утро Гриша сидел на крыльце господского дома и ел яблоко. Зелёное, кислое, недоспелое — но другие ещё не успели, а эти — уже падали. Яблоня росла у крыльца, старая, корявая, с дуплом, в котором жили осы. Гриша их не трогал. Осы — его не трогали. Молчаливый договор.

На коленях у него — свайка. Маленькая, уменьшенная, отцовская — дядька выковал её у кузнеца, по просьбе матери, к именинам. Тяжёлая для детской руки — граммов двести, железная, с острым концом и петлёй на тупом. Кольцо-мишень — вбитое в землю у крыльца, на расстоянии пяти шагов. Гриша бросал. Мимо. Мимо. Мимо. Попал — раз из десяти. Но — бросал. Снова и снова. Упрямо, без раздражения, без слёз. Просто — снова и снова.

Это заметили. Все заметили. Мать — улыбалась. Дядька — молчал. Но — молчал с одобрением.

Дядьку звали Олфер. Олфер Тимофеевич Суковатый. Не родственник — дворовый человек. Из тех, кого называли «стремянные»: личные слуги боярина, что ездили с ним на войну, подавали коня, носили оружие, спали у шатра. Олфер — был именно такой. Он прошёл с Григорием Петровичем Смуту. Был под Рахманцевом, когда погиб Андрей. Видел — как боярин стоял над телом сына. Видел — как потом поднялся и продолжил бой. Олфер — не говорил об этом. Никогда. Но — помнил. Всё помнил.

Ему было под шестьдесят. Высокий, сухой, с лицом — как старое дерево: морщины — трещины, кожа — кора, глаза — тёмные, глубокие, как дупла. Руки — узловатые, с мозолями,

с двумя пальцами на левой — доставало трёх, отрублено саблей где-то под Ельцом, в 1606-м. Он — не рассказывал, как. Просто — не было. И всё.

Одевался Олфер просто — в старый кафтан, латаный, в поршни (кожаные лапти, сплетённые из сыромятных ремней). На поясе — нож в ножнах. Не сабля — нож. Сабля — для боя. Боя — пока — нет. Но — нож — всегда.

Он жил в подклети господского дома, в каморке у конюшни. Вставал — до света. Ложился — после всех. Не пил. Не ел сладкого. Не ругался. Говорил — мало. Когда говорил — слушали. Даже мать — слушала. Хотя — она была хозяйка, а он — слуга. Но — так сложилось. Потому что Олфер — знал. Знал — как держать саблю, как седлать коня, как ставить шатёр в дождь, как отличить след татарской лошади от русской по подкове. Знал — как учить мальчика.

Гриша — не боялся его. Другие дети — боялись. Но Гриша — нет. Он — ходил за Олфером, как тень. Сидел рядом, когда тот чинил сбрую. Молчал. Смотрел. Олфер — не прогонял. Иногда — показывал: как завязать узел, как наточить нож, как держать повод. Без слов. Просто — показывал. А Гриша — повторял.

В четверг, после обеда, когда солнце пекло и куры прятались под сараем, Олфер поднялся со своей лавки у конюшни и — прислушался. Гриша — тоже. У него — слух был острый, тонкий, как у зайца.

— Скачут, — сказал Олфер.

Гриша бросил яблоко. Вскочил. Свайка — в руке. Сердце — застучало, быстро-быстро. — Кто?

— Свои, — Олфер чуть прищурился, смотрел — на дорогу, за пруд, за овраг, туда, где пыль — поднималась, медленно, рыжая, на фоне зелёного леса. — Много. Лошадей — десять, может — двенадцать. Едут — не торопясь. С обозом.

— Братья? — Гриша — дёрнулся.

Олфер — не ответил. Но — кивнул. Едва. И — Гриша — полетел.

Он бежал — босиком, по пыльной дороге, мимо пруда, мимо кузницы, мимо огородов, где бабы полоскали, к мосту через Тару — низкому, бревенчатому, с перилами из жердей. Мост — скрипел. Вода — блестела. И — за мостом — на дороге — пыль, кони, люди.

Впереди — на гнедом жеребце, большом, горячем — Василий. Старший. Василий Большой. Боярин.

Гриша — знал его плохо. Василий приезжал раз в год, иногда — реже. Он — жил в Москве, при дворе. Боярин — с 1620-х, наследник, глава рода. Большой, бородатый, голос — бас, смех — громкий, на весь двор. В кафтане — добром, с золотой нашивкой. Сабля — на боку, в бархатных ножнах. Шапка — **горлатная**, высокая. Он — был из тех, кто занимает комнату, даже если стоит. Всё — в нём было — большое: руки, голос, шаг, тень.

За ним — Иван. Иван Большой, по прозвищу Молчанка. Прозвище — точное. Иван — молчал. Всегда. Не потому, что не мог — потому что не считал нужным. Высокий, сухой, в простом кафтане, без нашивок, на сером мерине. Борода — русая, короткая. Глаза — спокойные, внимательные. Он — всё видел, всё замечал — и — молчал. Когда говорил — коротко, веско, как гвоздь забивал. Василий — говорил много, красиво, но — часто — впустую. Иван — говорил мало, неказисто — но — в точку. Между ними — было понимание, без слов. Братья — из тех, что не ссорятся, потому что один — крикнет, другой — промолчит, и — всё решено.

Третий — Пётр. Средний. Весёлый, удалой, в красном кафтане, на вороном коне. Пётр — был из тех, что — на любой праздник — первыми. Красивый, чернобородый, с усами, с искрой в глазах. Он — не боярин, не стольник — ещё нет. Но — уже служил, уже воевал: в 1618-м, когда поляки ходили на Москву, Пётр — был рындо при царе, стоял с топором у трона, при приёме шведских послов. В 1634-м — он будет защищать Курск от поляков. Но это — потом. Пока — он — молодой, удалой, голосистый, поёт песни, пьёт мёд, бьёт свайку дальше всех.

И — четвёртый — Василий Меньшой. Молодой — лет пятнадцать. Стольник — с этого года, с 1625-го. В новом кафтане, щёгольском, с золотой пуговицей на вороте. Лицо — мальчишеское, без бороды — ещё не растёт. Он — горд. И — есть чем: в этом году — первый раз — стоял при приёме кызылбашских послов. Послы шаха Аббаса. Из Персии. И — привели — слонов.

Гриша — добежал. Запыхался. Босые ноги — в пыли. Свая — торчит из кулака, как оружие. Лицо — красное, мокрое, глаза — горят.

Василий Большой — увидел. Остановил коня. Слез — тяжело, с кряхтением (тяжёл, любит поест). Посмотрел — вниз, на мальчишку. Улыбнулся.

— Гришатка! — басом. — Ты? Неужто? Сколько тебе — годков?

— Пять, — ответил Гриша. Серьёзно. Без улыбки.

— Пять! — Василий — поднял его. Одной рукой, под мышки, как котёнка. Высоко — над головой. Гриша — в воздухе. Ветер — в лицо. Земля — далеко. Сердце — оборвалось и — полетело.

Василий — держал. Крепко. Смотрел — снизу вверх — в мальчишеское лицо. Улыбка — широкая, добрая. Он — любил детей. Хотя — своих ещё не было, или — были, но — в Москве, с другой матерью (о его жене — мало известно). Этот — брат. Последний. Восьмой.

— Вырос! — сказал Василий. — В отца будешь. Тот — такой же — серьёзный, молчаливый. А я — болтлив. Видит Бог — болтлив. Но — жив. А молчаливые — дольше живут. Запомни.

И — опустил. На землю. Мягко. Как — перо. Руки — сильные, тёплые, пахнущие конским потом и кожей. Как — у отца. Тот же запах. Гриша — замер. Стоял. Смотрел — на Василия, снизу. Не отвёл глаз.

— Что — молчишь? — Василий потрепал его по голове. — Ну, пойдёшь — к Ивану. Он — тоже — не болтлив. Сговоритесь.

Иван Молчанка — слез с коня тихо, без крика. Подошёл. Посмотрел на Гришу — внимательно, без улыбки. Наклонился. Не поднял — просто положил руку на голову. Ладонь — сухая, тёплая, тяжёлая.

— Здравствуй, — сказал он. Одно слово. И — всё.

Гриша стоял под ладонью. Молчал. И понял. Не слова, а молчание. Иван не разговаривал. Он присутствовал. Его молчание не было пустым. Оно было как стена. За которой спокойно. Гриша прижался. Не обнял — нет, мальчики боярского звания не обнимают братьев на дороге. Просто прижался плечом. Иван не отстранил. Так и стояли — секунду, две. Потом Иван убрал руку. Кивнул. И пошёл к дому.

Пётр был другим. Он слетел с коня, как с берега в воду: размах, хохот, разворот.

— Гришка! — крикнул. — Иди сюда! Дай-ка погляжу!

Поднял обеими руками, раскрутил, посадил на коня. Своего, вороного, горячего. Конь заржал, переступил. Гриша вцепился в гриву. Страшно — и восторг. Высоко. Седло скользкое, тёплое, пахнет конём. Ноги не достают до стремян. Пётр рядом, держит за пояс, смеётся.

— Ну как? Нравится?

— Да! — Гриша впервые улыбнулся — широко, мальчишески. Пётр расхохотался.

— Будет из тебя всадник! Дядьку слушай. Олфера. Он грамотей военный. Научит.

Поставил на землю. Хлопнул по спине. Не больно, но Гриша шагнул вперёд от толчка. Пётр подмигнул. И пошёл к дому, насвистывая. Василий Меньшой — последний. Мальчишке — пятнадцать. Он — не ребёнок, но и не муж. Гриша смотрел на него с любопытством. Брат близкий, почти ровесник. Но уже стольник. Уже был при дворе. Уже видел слонов.

— Ты — Гриша? — Василий Меньшой присел на корточки. На уровне глаз. — Я — Василий. Меньшой. Меньше вот этого, — кивнул на Василия Большого, который уже шёл к дому, широкий, как дверь. — Меня — Вася Меньшой. А тебя — Гриша. Не перепутаем.

Гриша кивнул. Василий Меньшой понизил голос:

— А я тебе расскажу. Про слонов. Они огромные. Серые. Нос — длинный, как рукав. Хоботом берёт хлеб прямо из руки. Я кормил.

Гриша раскрыл рот.

— Правда?

— Правда. Царь-батюшка, Михаил Фёдорович, разрешил. Нам, стольникам, разрешили посмотреть. Шах Аббас прислал. Двух. В подарок. Из Персии.

— А они — злые?

— Нет. Добрые. Только — большие. Очень. Как изба. Как два воза. Когда идут — земля дрожит. Я думал — кони, а это — они. Уши — как лопухи, только кожаные. И — умные. Боярин один — сунул руку, а слон — хоботом — и отодвинул. Аккуратно. Боярин — назад. Слон — вперёд. Боярин — в грязь. Все — хохотали.

Гриша засмеялся. Тихо, сдержанно, как всё у него, — но засмеялся. Василий Меньшой — тоже. Потом встал, отряхнул колени, сказал серьёзно:

— Ладно. Хватит про слонов. Ты свайку бросаешь?

— Бросаю. Раз из десяти попадаю.

— Мало. Я в твои годы — три из десяти. Дядька твой — Олфер — он научит. Он — лучшему научит, чем я.

И пошёл к дому, насвистывая. Гриша — за ним. Свайка — в кулаке, тёплая от руки.

У крыльца их встретила мать.

Марфа вышла из горницы — в тёмном сарафане, в белом платке, повязанном по-старичку: концы — назад, узел — под затылком. Лицо — круглое, мягкое, со складкой между бровей, которая в последние три года не разглаживалась даже во сне. Она — не плакала. Не кричала. Не бросалась на шею. Боярыня — не баба, боярыня — камень. Но — руки — дрожали, пока гладила Василия Большого по плечу, и — голос — чуть дрогнул, когда сказала:

— Василий. Здравствуй. Слава Богу.

Василий Большой — обнял. Не нежно — крепко, как медведь: обхватил, приподнял, поставил. Мать — охнула. Он — засмеялся:

— Матушка! Тыщу лет не виделась! Худая — в которого? Ешь-то хоть?

— Ем, — ответила Марфа. — Когда некогда — не ем. Когда некогда не некогда — ем.

Василий — хохотнул. Это была её манера: говорить загадками, сплести слова, как верёвку. Гриша — привык. Братья — тоже.

Иван Молчанка — подошёл. Не обнял — встал рядом, положил руку на плечо. Мать посмотрела на него — долго, без слова. Он — кивнул. Она — кивнула. Всё. Больше — ничего. Но — Гриша видел: складка между бровей — разгладилась. На секунду.

Пётр — обнял мать, расцеловал в обе щеки, шумно, мокро. Марфа — отёрлась, сказала:

— Пётр! Борода — колючая! Совсем медведь стал!

— Медведь и есть! — Пётр — расхохотался. — В Курске — так и зовут: «князь Пётр Григорьевич, курский медведь»! Я — и не возражаю!

Василий Меньшой — подошёл последним, поцеловал руку матери. Марфа погладила его по голове — он единственный, кого ещё можно было гладить: безбородый, гладколицый, мальчишка при кафтане с золотой пуговицей.

— Вырос, — сказала она. — И — красивый. Как батюшка в молодости.

Василий Меньшой — покраснел. Мать — улыбнулась. Гриша — смотрел.

Фёдор и Иван Меньшой — те, что жили при матери — вышли позже. Фёдор — двадцати лет, уже взрослый, серьёзный, с начинающей бородкой, русой и мягкой. Он — не бросился к братьям. Встал на крыльце, сложил руки на поясе, кивнул — каждому, по очереди. Василий Большой — кивнул в ответ. Пётр — махнул рукой. Иван Молчанка — ничего. Они — знали друг друга. Не по письмам — по крови.

Иван Меньшой — восемнадцати, тонкий, как тростинка, с живыми тёмными глазами и быстрыми руками — он всё делал быстро: ел, говорил, ходил. Противоположность Ивану Большому, Молчанке. Тёзки — а разные, как день и ночь.

— Василий! — Иван Меньшой — соскочил с крыльца. — А слонов — видел? Расскажи!

— Видел. Кормил. Хоботом — хлеб брал.

— Хоботом! — Иван Меньшой — засмеялся. — А я думал — ртом! Как лошадь!

— Нет. У них — хобот. Это — нос и рука вместе. Берёт — и ест. А ртом — только зубы. Большие, как лимоны.

Гриша — слушал. Стоял — чуть в стороне, у перил крыльца. Его — не замечали. Младший, восьмой, последний. Не потому, что не любили — а потому что не видели. Он — маленький, тихий, незаметный. Как мышь в подклети.

Но — он слушал. Всё. Запоминал. Кто как сказал, кто как обнял, кто что принёс. Это — его дар. Не сабля, не свайка, не конь. Память. Глаза. Уши.

Обоз — четыре телеги — въехал во двор. Слуги — дворовые люди — бросились разгружать. Гриша видел — и знал — каждого. По именам, по привычкам, по запаху.

Ключник Потап — старый, седой, с ключами на поясе, звенящими при ходьбе — вышел из подклети, поклонился братьям. Он — управлял домом: припасы, погреба, амбары, мёд, квас, соленья. Без него — дом стоял бы пустой. Марфа — решала, Потап — исполнял. Он — при Ромодановских — с молодых лет, ещё при отце. Пятьдесят лет — один ключник. Пережил Смуту, голод, мор — и — не ушёл. Не мог. Дом — без него — дом ли?

— Потап Гаврилыч! — Василий Большой — узнал. — Жив? Здрав?

— Жив, княже, — Потап поклонился. — Бог милует. А вы — слава Богу — приехали. Матушка-то — заждалась. Каждую неделю — спрашивает: «Потап, не едут ли?» А я — «Не едут, матушка, не едут». А сам — молюсь. Чтобы — ехали.

Василий — кивнул. Потап — ушёл — распоряжаться. Он — уже знал: четверо гостей, две ночи, пировать — не пировать, но — накормить. Меню — в голове, без записей. Щи, каша, жаркое, пироги, мёд, квас. На ужин — рыба из Тары: щука, окунь. На завтрак — блины.

Повариха — Домна, толстая, чернобровая, с руками в муке до локтей — высунулась из поварни, крикнула:

— Бояре! Кормить — когда?

— Когда? — Василий Большой — удивился. — Сейчас! Я — с утра не ел!

— С утра! — Домна — возмутилась. — А я — с ночи! Блины — готовы. Щи — на огне. Пирог — в печи. Садитесь — накормлю!

Пётр — расхохотался:

— Домна! Ты — как была — так и есть! Кормишь — за страх, не за совесть!

— А за совесть — не кормят! — Домна — скрылась в поварне. — Совесть — не сытая!

Гриша — улыбнулся. Домна — пекла ему блины каждое утро. Тонкие, с мёдом. Она — не ласковая, не нежная — но — блин — всегда. Это была её любовь: через тесто, через муку, через печь.

Псарь — Захар — тоже вышел. Старый, кривой на один глаз (волк задрал — в молодости, на охоте с отцом), с тремя собаками на цепи. Собаки — визжали, рвались, лизали руки братьям. Захар — кланялся, приговаривал: «Собачки-то — соскучились. Помнят. Борзые — умные, умнее людей. Человека — забудут, а барина — нет».

Коновязь — Ерофей — молодой, лет двадцати, из дворовых, — принял коней. Гнедого Василия Большого — на конюшню, в стойло, овёс, вода. Серого мерина Ивана Молчанки — рядом. Вороного Петра — отдельно: горячий, кусается. Ерофей — знал каждого коня, каждого нрав. Гриша — помогал ему иногда: подавал узду, чистил гриву. Ерофей — учил: «Гриву — от головы к хвосту. Против шерсти — нельзя. Конь — обидится. Конь — помнит».

Олфер — стоял у конюшни. Не у дома — у конюшни. Его место — там, где пахло конями, кожей, железом. Он — не вышел навстречу. Не поклонился. Стоял — и смотрел.

Василий Большой — увидел. Остановился. Подошёл. Молча. Взял за плечи — посмотрел в глаза. Олфер — не отвёл. Василий — сказал:

— Олфер Тимофеич. Жив. Здрав. Спасибо тебе. За мать. За детей.

— Не мне — спасибо, — ответил Олфер. — Богу.

Василий — кивнул. Отпустил плечи. Олфер — ушёл — в конюшню. Делать — нечего, но — стоять — не его место.

Пётр — тоже подошёл. Коротко:

— Олфер, я свайку потерял — по дороге. Выбила из рук, когда конь споткнулся. Сможешь — выковать?

— Сможу. К Покрову — будет.

Пётр — кивнул. И — всё.

Иван Молчанка — не подошёл. Но — кивнул Олферу издалека. Олфер — ответил. Два молчания — встретились. Поняли.

Гриша — стоял у перил и смотрел на Олфера. Тот — единственный, кто не кланялся, не улыбался, не суеился. Просто — был. Как стена. Как столб. Как старое дерево, что пережило все бури и стоит — потому что стоит. Гриша — хотел быть таким. Он ещё не знал этого — но — хотел. Молча. Крепко. Навсегда.

Вечером — ужин. Господская горница: лавки вдоль стен, стол — дубовый, тяжёлый, скобами к полу. На столе — скатерть льняная, белая, с вышивкой по краю: петухи и виноградные лозы — мать вышила, давно, ещё при муже. Свечи — восковые, в медных шандалах. Пахнет — воском, хлебом, щами горячими, мёдом.

Размещение — по старшинству. Василий Большой — во главе стола, на отцовском месте. Мать — справа, рядом. Иван Молчанка — левее Василия. Пётр — рядом с Иваном. Василий Меньшой — между Петром и Фёдором. Фёдор — рядом с Иваном Меньшой. Иван Меньшой — рядом с Гришей.

Гриша — последний. В углу. Тарелка — маленькая, деревянная, ложка — берестяная (детская, ещё не взрослый прибор). Он — ел тихо, не звякая, не капая. Мать — приучила.

Разговор — шёл. Не с Гришей — над ним. Братья — говорили о своём, взрослом: служба, двор, царь, войны.

Василий Большой — рассказывал про Москву:

— Царь-батюшка — тих. Болезнен. Кашляет. Зиму — еле пережил. Но — держится. Бояре — ропщут: одни — на Литву глядят, другие — на Крым. Третьи — друг на друга. Местничество — проклятое: кто выше, кто ниже, кто чьего отца не уважил. Я — борюсь. Как могу. Но — один — не воевода.

Иван Молчанка — молчал. Потом — сказал, коротко:

— Литва — слаба. Сапега — стар. Радзивилл — занят собой. Если — война — через пять лет. Не раньше.

Василий — посмотрел на него. Кивнул. Иван — сказал — всё. Больше — не нужно.

Пётр — встретил:

— А Крым? Татары — в прошлом году — под Тулой были. Угнали — триста человек. Полон. Я — с разбегом ходил — догоняли — не догнали. Лошади — лучше. И — знают степь. Мы — нет.

Василий Меньшой — сказал, тихо, но — веско:

— А я — слышал — царь хочет — полки нового строя. Рейтары. Драгуны. По-немецкому. С мушкетами, в латах. Не как мы — с саблей и пищалью. А — строем. Дисциплина. Огонь.

Фёдор — кивнул:

— Слышал тоже. Иноземцы — обучают. Лесли, фон Бокховен. Царь — хочет. Бояре — боятся. Новое — всегда страшно.

Иван Меньшой — повернулся к Грише:

— А ты, Гришатка? Ты — что — думаешь?

Гриша — замер. Ложка — в воздухе. Капля — шей — на краю. Он — не ждал вопроса. Его — никогда не спрашивали. За столом — он — тень, последний, маленький.

Он — подумал. Серьёзно, как взрослый. Потом — сказал:

— Татары — на конях. Мы — тоже на конях. Но — конь татарский — наш не догонит. Значит — надо — догонять по-другому. Не конём. Стрелой. Из лука — далеко. Или — из мушкета. Пока — татарин скачет — его — снять. С коня. А конь — без всадника — остановится.

Тишина. Все смотрели на него. Пётр открыл рот. Василий Большой поднял бровь. Иван Молчанка ничего не сказал. Но его глаза блеснули. Василий Большой — сказал:

— Пять лет — а думает — как воевода.

И — вернулся к шам. Но — Гриша — заметил: мать — улыбнулась. Сложка между бровями — разгладилась. На секунду.

После ужина — братья вышли на двор. Ночь — тёплая, августовская, звёзды — крупные, как просяные зёрна. Кузнечики — стрекотали в траве. Лошади — фыркали в конюшне. Из поварни — пахло хлебом (Домна пекла на утро).

Пётр — вынес свайку. Свою — настоящую, взрослую, в полтора фунта железа. Кольцо — вбитое в землю у колодца, в двадцати шагах. Бросал — раз за разом. Попадал — почти всегда. Гриша — стоял рядом, смотрел, запоминал: как стоит, как заносит руку, как отпускает. Не сверху — снизу, от бедра. Хлёстко, как плеть.

— Давай, — сказал Пётр. Протянул свайку. — Попробуй.

Гриша взял. Тяжёлая. В два раза тяжелее его, детской. Он встал. Прицелился. Замах. Бросок — мимо. Мимо. Мимо. Пётр не смеялся. Молчал. Четвёртый — попал. Свайка звякнула о кольцо, отскочила. Не в цель, но в кольцо.

— Ну! — Пётр хлопнул его по спине. — Будет! Через год — в цель. Через два — десять из десяти.

Василий Меньшой подошёл с серьёзным лицом:

— А я что говорил? Олфер научит. Он так бьёт — свайка в кольцо как в гнездо ложится. Не дрогнет.

Гриша молча подобрал свайку. Бросил снова. Мимо. Снова. Мимо. Снова — попал.

Олфер стоял в тени у конюшни. Не подошёл. Но видел. И кивнул. Едва. В темноте никто не заметил. Только Гриша. И улыбнулся. Первый раз за вечер — по-настоящему.

Позже — много позже — когда Григорий Григорьевич будет стоять на холме над Слони-городком и смотреть, как поляки бегут в темноте, он вспомнит этот вечер: свайка у колодца, голос Петра — «Через два года — десять из десяти», тёмное лицо Олфера в тени конюшни, звёзды над Ивановом — крупные, как просяные зёрна.

И не вспомнит. Потому что будет не до воспоминаний. Будет бой. И рука сама бросит свайку. Точно. В цель. Как тогда. Как всегда.

Глава 4. «Стольник»

Часть 1. Первый день.

****Сцена 1.** «Приезд в Москву»**

Москва в 1632 году была не та Москва, что сейчас. Каменная — только Кремль и Китай-город: белые стены, зубцы, башни с шатрами. Всё остальное — деревянное. Улицы — узкие, кривые, в грязи по колено после дождя, в пыли по щиколотку в сушь. Дома — бревенчатые, с тесовыми крышами, тесно, один к одному, дворы — крошечные, заборы — жердяные. Пожары — каждый год: загорится в одном конце — не успеешь обернуться, горит в другом. Люди живут в страхе огня, в страхе татар, в страхе мороза. Но живут. Шумно, густо, тесно.

Торговцы — на Никольской, на Ильинке, в Китай-городе. Ремесленники — в слободах: кузнецы в Кузнецкой, гончары в Гончарной, кожевники в Кожевниках. Церкви — на каждом углу, по три на улицу, маковки пестрят: золотые, зелёные, синие. Колокола звонят: к обедне, к вечерне, к заутрене, к пожару, к набату. Звон — это голос Москвы. Без него — тишина, мёртвая, чужая.

И — люди. Тысячи, десятки тысяч: бояре в саях, в возках, с дворнёй; дворяне на конях, в кольчугах; стрельцы в кафтанах, с бердышами; монахи в чёрном, с посохами; бабы с корзинами; мужики с дровами; нищие на папертях, слепые, кривые, безногие — Смута оставила калек, Москва их приютила, а выгнать — некуда. И мальчишки. Босые, в длинных рубахах, голодные, ловкие — воруют, дерутся, смеются. Москва — живая. Горячая. Пахучая: дым, хлеб, навоз, кожа, рыба, ладан, дёготь, мёд. Всё сразу.

Для Гриши, приехавшего из тихого Иванова, Москва была — как удар. Не звук — звуком: крики, колокола, лошади, телеги, брань, смех. Не запах — запахом: резким, густым, чужим. Не вид — видом: тесным, огромным, давящим. Деревня — двадцать дворов, одна церковь, река, лес. Москва — десятки тысяч дворов, сорок сороков церквей, река — широкая, серая, с плотинами и мельницами, лес — вырублен, на его месте — слободы, огороды, дымящие кузни.

Первую ночь он не спал. Лежал на лавке в доме Василия Меньшого — на Тверской, у церкви Афанасия и Кирилла — и слушал. Москва не спала: за стеной — лошадь заржала, кто-то кричал, собака лаяла, колокол — далёкий, монастырский — бил к заутрене. Потом — тише. Потом — снова крик. Москва — как море: не затихает, только откатывается и возвращается.

****Сцена 2.** «Дом Василия Меньшого»**

Дом Василия Меньшого был — небольшой, рубленый, из тёсаных брёвен, с горницею, поварней, подклетью и конюшней. Пять человек дворни: повариха, коновязь, два холопа и — Олфер. Олфер — на конюшне, как всегда. Гриша — в горнице, на лавке, укрывшись тулупом.

Василий Меньшой жил скромно. Боярский сын, стольник — но не богатый. Жалованье — маленькое: десять рублей в год, хлебное — ржаная мука, крупа. На это — не разгуляешься. Кафтан — один, хороший. Остальные — латаные. Лошадь — одна, своя. Вторая — казённая, служебная. Серебро — немного, на поясе, для вида. Бедность — не позорная, но — стеснённая. Так жили младшие сыновья. Старшие — Василий Большой, Иван Молчанка — в Москве в хоромах, с дворней в двадцать человек. Младшие — как Василий Меньшой: дворы маленькие, жизнь тесная, служба — единственное, что поднимает.

Утром Василий Меньшой разбудил Гришу рано — до света. Не окликнул — тронул за плечо. Гриша вскочил мгновенно: привычка, от Олфера. Вставать — сразу, не разлёживаясь. Сонливость — на службе непозволительна.

— Собирайся, — сказал Василий. — Сегодня — первый день. Приём крымских послов. В Столовой избе. Поспеешь — хорошо. Опоздаешь — позор. Не мне — тебе.

Гриша одевался — сам, без слуг. Не привык — дома мать одевала, или — нянечка. Здесь — сам. Кафтан — тёмно-синий, с серебряной нашивкой на вороте. Короткий, по моде для стольников: не до пят, как у бояр, а до колен, чтобы нога свободно шла. Сапоги — жёлтые, новые, тесные, натирают. Шапка — горлатная, невысокая, боярская, но маленькая, лёгкая. На поясе — сабля, детская, но настоящая, клинок острый. Олфер выбрал.

Олфер — ждал у конюшни. Конь — осёдлан, повод — натянут. Он — не говорил «ни пуха ни пера», не желал удачи. Просто — стоял. И — кивнул, когда Гриша вышел. Этого было достаточно.

****Сцена 3.** «Спасские ворота»**

В Кремль въехали через Спасские ворота, главные, святые. На воротах — образ Спаса, старый, потемневший, с лампадкой. Все снимали шапки. Гриша снял. Проезжая — перекрестился. Василий Меньшой тоже. Машинально, привычно. Так все. И царь, и боярин, и холоп. Спасские ворота — святыня.

Внутри Кремля — площадь. Соборы: Успенский — огромный, белый, с пятью золотыми главами; Архангельский — усыпальница царей, с резными белокаменными порталами; Благовещенский — домашний, маленький, с фресками; колокольня Ивана Великого — столп, видать за тридцать вёрст. Грановитая палата — где принимают послов. Красное крыльцо — где царь показывается народу. Теремной дворец — где живёт царь, с царицей, с царевичем.

— Смотри, — сказал Василий Меньшой, указывая на Теремной дворец. — Там — царь-батюшка. Там — царевич Алексей. Ему три года. А тебе двенадцать. Ты старше. Но не забывай: он — царь. Ты — слуга.

Гриша кивнул. Он это знал. Знал давно — с тех пор, как мать сказала: «Служи земле, а не лицу. Но лицу кланяйся. Потому что лицо — от Бога».

Отец — к этому времени — был четыре года в могиле. Умер в 1628-м, приняв постриг с именем Геннадия. Гриша — не помнил его. Совсем. Только — запах: кожа, железо, конский пот. Рука, большая, тёплая, которая один раз погладила по голове. Всё. Остальное — из слов матери, из писем, из молчания братьев. «Служи земле, а не лицу» — это были отцовы слова. Мать — передала. Как завещание. Как эстафету, которую передают из рук в руки, из уст в уста, из поколения в поколение.

В Москве его братья были. Василий Большой — в своих хоромы, на Моховой. Иван Молчанка — где-то, на службе. Пётр — на юге, в Курске. Василий Меньшой — рядом, на Тверской. Фёдор и Иван Меньшой — при матери, в Иванове. И — Гриша. Двенадцатый год, первый день в Кремле, новый кафтан, натёртые пятки.

****Сцена 4.** «Местничество»**

Придворный мир — отдельный. Свои правила, свои обычаи, свой язык. Грише предстояло выучить всё это. Не за месяц, не за год. Постепенно, день за днём, наблюдая.

Местничество — первый урок. В России каждый человек занимал место, определённое родом, службой, царским жалованьем. Кто выше, кто ниже — на бумаге, в Разрядных книгах, в родословцах. На пиру — кто ближе к царю. На службе — кто перед кем стоит. В церкви — кто раньше кого прикладывается к кресту. Всё расписано. Всё проверено. Ошибка — местнический спор: «Ты меня позоришь! Твой отец был ниже моего!» И челобитная, и суд, и разбор, и иногда — кнут. Местничество — не просто этикет. Это закон. Жёсткий, как камень.

Гриша — восьмой сын. Его место — последнее. За столом — дальний угол. На службе — последний ряд. В церкви — последним к иконе. Так положено. Терпи.

Василий Меньшой объяснял просто:

— Местничество — не навсегда. Тебе двенадцать. Через десять лет будешь воевода. Через двадцать — боярин. Если служить. Если не ссориться. Если молчать, когда другие кричат.

— А если не молчать?

— Тогда — местнический спор. Тебя обвинят. Ты докажешь. Бумаги, родословцы, свидетели. Пока докажешь — три года пройдёт. А за три года другие уйдут вперёд. Так что — молчи. Служи. Жди.

Гриша молчал. Слушал. Запоминал.

****Сцена 5.** «Приём крымских послов»**

Первый день — в Столовой избе. Это не парадный зал, не Грановитая палата, а рабочая комната: бревенчатые стены, лавки, стол, свечи, иконы в углу. Здесь царь принимал крымских послов, кумыкских мурз, нагайских гонцов — послов поменьше, не перворазрядных. Для больших — Грановитая палата, золото, парча. Для татар — Столовая изба. Скромнее, ближе, проще. Но со своим церемониалом.

Василий Меньшой ввёл Гришу в избу, показал, где стоять:

— Вот тут. У стены. За мной. Не двигайся, не кашляй, не смотри на посла прямо. Смотришь мимо. Боковым зрением. Запоминай — что посол скажет, как скажет, что наденет, с кем придёт. Потом доложишь мне. Я — дьяку. Дьяк — боярину. Боярин — царю.

— А я — кому?

— Никому. Ты — глаза и уши. Не рот.

Царь Михаил Фёдорович.

Гриша увидел его впервые — близко, в три шага. Не издалека, на церковной службе, где царь стоял за решёткой, как икона. А здесь, в Столовой избе, живого.

Царь был невысокий, тихий, с мягким лицом и тихими глазами. Борода русая, уже с проседью, аккуратно подстриженная. Кафтан золотой, но не яркий, потёртый на локтях. Он не любил роскошь. Не потому что не мог — потому что не хотел. После Смуты, после нищеты, после голода — роскошь казалась ему кощунством. На голове — шапка Мономахова, маленькая, с собольей опушкой. На пальцах — перстни, но не все. Один снимал: больной палец, суставы. Подагра. Он хворал. Постоянно. Кашлял, кашлял, ныла нога. Но держался. Тихо, без жалобы. Как дерево, что гниёт внутри, но стоит.

Рядом — царевич Алексей. Три года. Маленький, круглолицый, в распашонке. Нянька держит на руках. Он не понимает, где он, что происходит. Кружит головой: золото, свечи, дяди с бородами. Но он — царь. Когда-нибудь. Гриша смотрит на него и думает: «Этот малыш будет мой царь. Я буду ему служить. Как отец служил Михаилу».

Крымские послы приехали на второй день.

Гриша стоял у стены, в тени, как положено. Василий Меньшой — впереди, чуть правее. Дьяк Посольского приказа — за столом, с бумагами, с пером. Боярин-пристав — князь Дмитрий Пожарский — в центре, в шубе, важный. Пожарский — герой Смуты, освободитель Москвы. Старый, грузный, с больной рукой (поражение — после боя). Но всё ещё боярин, всё ещё лицо. Царь доверяет ему приём татар. Потому что Пожарский знает татар. Воевал с ними. И уважает. Не боится — уважает.

Послов было двое. Крымский мурза Кантемир — главный, и его помощник, мурза Аппак. Оба — в татарских кафтанах, расшитых серебром, в высоких шапках из тёмного меха. Лица тёмные, обветренные, скуластые, с тонкими чёрными бородами. Глаза узкие, острые, всё замечают. Они не дикари. Они дипломаты. Крымское ханство — не орда кочевников, а государство, со своим церемониалом, со своей дипломатией, со своими интригами. Стамбул — учитель. Крым — ученик. Но способный.

Кантемир вошёл — и не поклонился. Не сразу. Остановился в дверях, осмотрел избу, как хозяин, как покупатель на торгу. Потом наклонил голову: коротко, чуть. Не поклон — кивок. «Я здесь. Но не кланяюсь. Я равный». Это татарский обычай: посол не кланяется первым. Он ждёт, пока ему окажут честь. Потом отвечает.

Пожарский не дрогнул. Привык. Жестом указал место. Кантемир сел. Аппак — за ним, ниже. Это иерархия, татарская: кто ближе к хану — тот выше, кто дальше — ниже.

Гриша смотрел. Запоминал.

Кантемир заговорил. Не по-русски — по-татарски. Мелодично, быстро, с гортанными звуками и свистящими. Гриша не понимал ни слова. Но слушал. Звук — как ручей по камням: журчит, булькает, переливается. Красиво. Странно. И опасно. Потому что за этим звуком — набеги, полон, дым, кровь.

Толмач — переводчик — стоял сбоку. Невысокий, тёмноволосый, с быстрыми глазами. Из «ясачных» татар, крещёных, служивых. Переводил без запинки, ровно, как читал по книге:

— Великий хан Джанибек-Гирей, царевич Крымский, брат Великого Государя царя и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руси, велел бить челом и о здоровье спрашивать, и о дружбе, и о любви, и о поминках...

«Поминки» — подарки. У татар всё через подарки: хан шлёт царю — коня, соболей, ковры. Царь — хану — соболей, сукна, золото. Это не благотворительность. Это дань. Замаскированная. Крымский хан — вассал турецкого султана, но России — не вассал. Россия платит Крыму «поминками», чтобы татары не ходили набегами. Это позор, но необходимый. Пока Москва не сильна — платит. Когда станет сильной — перестанет. Но не сейчас. Сейчас 1632 год. Москва бедна, армия слаба, Смута свежа.

Кантемир говорил долго. Пожарский слушал — внимательно, без выражения. Когда толмач закончил, Пожарский ответил коротко:

— Великий Государь велел послу сказать: рад дружбе. Поминки принял. О мире говорить будем. А пока — угощение.

И — стол. Это тоже церемониал: угощение посла — знак уважения. Но и задержка: пока едят — думают. Бояре совещаются. Дьяки пишут. Царь решает.

Гриша простоял два часа. Ноги затекли, спина болит, сапоги натёрли до волдырей. Но не двинулся. Не кашлянул. Не шевельнулся. Так учили. Так положено.

Зато видел. Всё.

Кантемир ел аккуратно, без жадности, но много. Мясо — руками, как положено у татар: ножом отрезал, клал в рот, косточки — на тарелку. Вино не пил. Мусульмане не пьют. Но квас пил, с удовольствием. Аппак ел меньше, но жаднее: кусал, рвал, капал на кафтан. Не равен Кантемиру. Это видно.

Кантемир не глуп. Пока ел, оглядывал избу, считал людей, оценивал. Сколько стольников, сколько стрельцов, какие сабли, какие лица. Гриша поймал его взгляд — на секунду. Мурза смотрел на него прямо, оценивающе, как лошадь на торгу. Гриша не отвёл глаз. Кантемир чуть усмехнулся. И отвернулся. Оценил: мальчишка. Не опасен.

Гриша запомнил эту усмешку. Запомнил, как мурза смотрел. Не злобно — спокойно. Свысока. Как на вещицу. Как на раба. Потому что для Кантемира все русские — будущие рабы. Или мёртвые. Это не злоба. Это привычка. Триста лет набегов. Триста лет полона. Триста лет рабов, проданных в Кафе, в Стамбул, на галеры. Для Кантемира — это не ненависть. Это бизнес.

И Гриша впервые подумал: «Я стою здесь, кланяюсь, угощаю. А через год, через пять, через десять — этот человек, или его сын, или его внук придёт в мою землю. С саблей. За моими людьми. За моими крестьянами. За моей матерью. И я буду стоять против него. Не здесь, в избе, с квасом. А в поле. С пушкой. С пищалью. С саблей».

Эта мысль не пришла вдруг. Она накатила. Медленно, как холодная вода. И осталась. Навсегда.

****Сцена 6.** «Вечер дома»**

После приёма — вечером, дома — Василий Меньшой отвёл Гришу в сторону. Спросил: — Что видел?

Гриша ответил. Коротко, как учили:

— Два посла. Кантемир — главный, Аппак — ниже. Кантемир умный, спокойный, считает людей. Аппак жадный, не равен. Не пили вино — мусульмане. Кантемир смотрел на меня как на вещь. Не уважал.

Василий Меньшой кивнул. Улыбнулся — впервые за день.

— Хорошо. А теперь — главное. Что Кантемир хотел?

— Не понял. Толмач переводил, а смысла не уловил.

— Смысл простой. «Поминки» мало. Хан хочет больше. Угрожает набегом. Если не дадим — придёт. Это не дружба. Это вымогательство. Так всегда.

— А мы платим?

— Платим. Пока. Царь не хочет войны. Не сейчас. Смоленск на очереди. Литва — враг. Крым — второй фронт. Два фронта — нельзя. Так что платим. Улыбаемся. Кланяемся. И готовимся.

— К чему?

Василий Меньшой посмотрел на него. Серьёзно.

— К войне. Всегда. К войне.

Часть 2. «Школа»

****Сцена 1.** «Пожарский»**

После очередного приёма крымских послов Гриша шёл по кремлёвскому коридору — узкому, сводчатому, из белого камня, с масляными лампадами по стенам. Пол — каменный, скользкий, холодок пробирал даже через подошвы сапог. Эхо — от шагов, от покашливания, от шороха кафтанов. Коридоры Кремля — как сосуды: крутые, тёмные, выводящие — куда? К Приказам, к дворцовым палатам, к царевым покоям. Заблудиться — легко. Найти дорогу — трудно. Гриша — ещё не выучил. Шёл за Василием Меньшим, как жеребёнок за кобылой.

И — остановился. Потому что навстречу — медленно, тяжело, опираясь на посох — шёл старик.

Не просто старик — боярин. Это было видно сразу: кафтан — золотой, но потёртый, шапка — горлатная, высокая, посох — не простой, с серебряным набалдашником. Движения — медленные, осторожные, ноги — тяжёлые. Но — осанка — прямая. Даже в старости — прямая. Как — ствол, что гниёт снизу, но — держит крону.

Лицо — морщинистое, как старая берёста. Борода — белая, редкая, жидкая. Глаза — вот что — глаза. Голубые, выцветшие, но — живые. Пронзительные. Из-под тяжёлых бровей — смотрели — не на Гришу. Сквозь него. Как сквозь стекло.

Гриша — замер. Прижался к стене. Так учили: боярина — пропусти. Младший — уступи. Василий Меньшой — тоже остановился, снял шапку, поклонился.

Старик — прошёл мимо. Не взглянул. Уже — прошёл. Уже — три шага. Уже — далеко.

И — остановился. Обернулся. Медленно, с усилием, поворачивая тяжёлое тело на посохе. — Ромодановский? — голос — хриплый, тихий, но — чёткий. Не вопрос — утверждение. Он — знал.

Василий Меньшой — обернулся.

— Я, князь Дмитрий Михайлович.

— Не ты, — старик — смотрел на Гришу. — Этот.

Гриша — похолодел. Василий — вздрогнул. Старик — смотрел. Голубые, выцветшие глаза — на мальчишке. Считали. Оценивали. Как Кантемир — но — иначе. Кантемир — оценивал как лошадь. Этот — как — человек.

— Как зовут? — спросил старик.

— Григорий, — ответил Гриша. Голос — не дрогнул. Он — не позволил.

— Григорий Григорьевич?

— Так точно, князь.

Старик — кивнул. Медленно. Будто — подтвердил что-то, что и так знал.

— Отца — знал, — сказал он. Не — «знал» — «знал». Прошлого. — Григорий Петрович. Храбрый был. Под Рахманцевым — стоял, когда все бежали. Полк — не бросил. Сына — потерял. Сам — остался.

Гриша — молчал. Сердце — колотилось. Отец. Этот человек — знал отца. Этот человек — видел то, о чём Гриша знал только из слов матери.

— Жаль, рано помер, — продолжил старик. — 1628-й. Постриг. Схима. Геннадий. Так — тихо. Воин — а ушёл — тихо. Как свеча — догорела.

Пауза. Коридор — молчал. Лампада — чадила. Тень — на стене — длинная, качалась.

— Сколько тебе? — спросил старик.

— Двенадцать.

— Двенадцать. А отец — когда Рахманцево — держал, ему — сорок восемь. Ты — успеш. Двадцать лет — впереди. Двадцать лет — учись.

И — наклонился. Тяжело, с хрустом в спине. Приблизил лицо — к Гришиному. Близко. Запах — воск, старость, кожа. Голубые глаза — впились.

— Слушай. Саблей — одного зарубишь. Глазами — армию перехитришь. Смотри. Запоминай. Молчи. Твой отец — молчал. И — выстоял. Кричащие — не выстаивают. Молчащие — да.

Отстранился. Выпрямился — с усилием, с болью (рука — больная, та, что после боя: пальцы — скрючены, не разгибаются). Пошёл. Тяжело, медленно. Посох — стук, стук, стук — по камню. Эхо — уносило.

Гриша — стоял. Василий — стоял. Молчали.

Потом — Василий тихо:

— Это был князь Дмитрий Пожарский. Герой Смуты. Освободитель Москвы.

— Я знаю, — сказал Гриша.

— Он — наш. Стародубский. Как — мы. Одна ветвь.

— Знаю.

Василий — посмотрел на него. Удивлённо.

— Откуда — знаешь?

— Мать — рассказывала. Все Стародубские — одна семья. Пожарские, Ромодановские, Гагарины, Тюленевы, Шаховские — все — от одного корня. Все — Рюриковичи. Все — родня.

Василий — кивнул. Молча. И — пошёл. Гриша — за ним.

В коридоре — было тихо. Только — стук посоха — где-то далеко — ещё — слышен. Стук. Стук. Стук. Потом — затих.

****Сцена 2.** «Будни»**

Прошёл месяц. Два. Осень — в дожди, в грязь, в серость. Зима — в мороз, в снег, в стужу. Гриша — служил.

Каждый день — одно и то же: утро, Кремль, стояние, вечер, дом. Но — внутри — менялось. Он — учился видеть. Не смотреть — видеть. Различать — кто из бояр — умный, кто — глупый. Кто — добр, кто — зол. Кто — служит, кто — хлопочет о себе.

Боярин Морозов — Борис Иванович — воспитатель царевича, серый кардинал двора. Не высокородный, но — близкий к царю. Хитрый, тихий, с мягким голосом и жёсткими глазами. Он — не кричал, не командовал — шептал. Царь — слушал. Все — слушали. Морозов — не боярин по роду, а — по уму. Гриша заметил: Морозов — единственный, кто — не боится царя. Не потому, что дерзок — потому что — нужнее. Царь без Морозова — как конь без стремян. Сидит, но — не держится.

Боярин Шереметев — Федор Иванович — воевода, опытный, осторожный. Большой, бородатый, с хриплым голосом. Он — из тех, кто — бьёт не первым, а — последним. Дождётся, выждет, накопит — и — раздавит. Гриша — видел его раз, на совете в Думе (стольники не входили в Думу, но — стояли у двери, и — слышали). Шереметев говорил: «Смоленск — не взять. Осада — долгая. Казна — пуста. Надо — мир. Хотя бы — временный». Царь — слушал. Морозов — кивал. Шереметев — был прав. Смоленская война — шла плохо.

Боярин Черкасский — Иван Борисович — молодой, горячий, красивый. Из тех, кто — сначала бьёт, потом думает. Он — за войну. За — Смоленск. За — «добычу и славу». Гриша — видел, как он спорил со Шереметевым: «Фёдор Иванович! Сколько — ждать? Пока — ляхи — сами уйдут? Не уйдут! Бить — надо!» Шереметев — молчал. Потом — отвечал: «Бить — можно. Чем? Людей — нет. Пороху — нет. Денег — нет. Бить — чем?» Черкасский — замолкал. Но — не сдавался. Злился. Уходил. Хлопал дверь (не в Думе — после, в сенях, где Гриша стоял).

Гриша — запоминал. Кто — за войну, кто — за мир. Кто — умный, кто — горячий. Кто — говорит — что думает, кто — говорит — что выгодно. Это — не школа в книгах. Это — школа жизни. Школа власти.

Так началась служба. Не одним днём — месяцами. Днями, повторяющимися, похожими, как капли дождя. Утром — в Кремль. Днём — приём, или стол, или поездка с царём на богомолье. Вечером — домой, на лавку, тулуп, разговоры с Василием Меньшим. И снова — утром.

Жизнь стольника — не героическая. Рутинная. Стоять, молчать, подавать, кланяться, сопровождать. Иногда — на коне, за царём, крестным ходом по Москве: от Кремля до Новодевичьего монастыря, или до Троице-Сергиева, или до Коломенского. Выехали — в семь. Вернулись — в девять вечера. Весь день — в седле. Конь — казённый, не свой, тупой, ленивый. Сидеть — прямо, не шевелясь, шапка — прямо, лицо — неподвижно. Люди — по сторонам дороги: снимают шапки, кланяются, крестятся на царя. Стольники — за царём, как стража, как украшение.

Гриша — привыкал. К тесным сапогам (мозоли — затвердели, кровь — присохла). К бессоннице (Москва не спит — он тоже). К еде (в Кремле кормят — щи, каша, рыба). К одиночеству (братья — на службе, не до него). К Москве (огромной, шумной, давящей).

И — к страху. Не татарам — Москве. Бояре — огромные, бородатые, в шубах, с голосами как трубы. Глядят — и — не видят. Мимо. Стольник в углу — не человек. Мебель. Стул с пером. И — хуже — местничество. Раз — ошибся: встал не на том месте, на приёме литовского гонца. Боярин Лыков — старый, желчный, с лицом как ботвинья — заорал:

— Ты! Младенец! Куда встал?! Твой отец — при моём отце — лагерным сторожем был!

Гриша побледнел. Не от страха — от стыда. «Лагерный сторож» — ложь. Его отец — боярин, воевода, герой Смуты. Но — Лыков — выше по роду. Лыков-Оболенский — старше. Ромодановские — Стародубские — младше. Так — в книгах. И — Лыков — прав. По закону.

Василий Меньшой — потом, дома — объяснил:

— Лыков — злой старик. Но — прав. Ты встал — где стоял князь Черкасский. Черкасский — выше. Ты — ниже. На два места. В следующий раз — смотри, где я стою. За мной — и стой. Не лезь вперёд.

— А — если Лыков — врёт? Про отца?

— Лжёт. Но — это не важно. Важно — место. Место — не поругание. Место — порядок. Без порядка — смута. А смута — ты знаешь, что такое.

Гриша знал. Смута — это когда нет порядка. Когда — каждый — за себя. Когда — отец присягает вору, потому что толпа заставляет. Местничество — плохо. Но — без него — хуже.

Он — молчал. Терпел. Учился.

****Сцена 3.** «Олфер и карта»**

Олфер — был рядом. Не в Кремле — в Москве, в доме, на конюшне. Но — рядом.

Каждый вечер, когда Гриша возвращался, Олфер — ждал. Не в горнице — у конюшни, на своей лавке. Чистил сбрую, точил нож, чинил путлу (кожаный ремень для стремени). Гриша — подходил. Садился рядом. Молчал.

Иногда — Олфер говорил. Коротко, как всегда:

— Как — было?

— Стоял. Слушал.

— Что — слышал?

И Гриша рассказывал. Всё, что запомнил: кто что сказал, кто как смотрел, кто кому поклонился, кто — нет. Олфер — слушал. Иногда — поправлял:

— Черкасский — не злой. Горячий. Зло — другое. Зло — холодное. Как — Лыков. Лыков — злой. Зло — когда — бьёт — того, кто — слабее. И — не бьёт — того, кто — сильнее. Черкасский — бьёт — всех. Это — не зло. Это — глупость. Глупость — не опасна. Зло — опасно.

Гриша — думал. О — зле и глупости. О — Лыкове и Черкасском. О — том, как — различать.

Однажды — вечером, в ноябре, когда — мороз — ударил, и — изба — остыла, и — свеча — едва горела — Олфер развернул на столе чертёж. Грубый, нарисованный углем на холсте. Не карта в современном смысле — рисунок: река — толстая синяя линия; дорога — тонкая чёрная; лес — штрихи; холмы — кружки; деревни — квадратики с крестиками. Названия — скорописью, мелко, криво. Масштаб не соблюдался. Но смысл — был.

— Это — Ока, — сказал Олфер. Ткнул пальцем. — Это — Серпухов. Здесь — Коломна. Здесь — Кашира. Татары приходят отсюда. — Палец — на юг, на юго-восток. — Муравский шлях. Из Крыма — через степь — к Туле — к Серпухову. Если набег — пойдут по этому пути. Если умные — обойдут. По Изюмскому шляху — к Ельцу. Или по Путивльскому — к Курску.

Гриша смотрел — и впервые увидел землю не как поле, не как лес, не как дорогу. А как план. Как доску для игры в шахматы. Где реки — стены. Где дороги — линии движения. Где города — крепости. Где степь — пустота, в которой враг быстрее, потому что нет укрытия.

— А как остановить? — спросил Гриша.

— Не остановить, — ответил Олфер. — Встретить. Заранее. Если знаешь, откуда придут — поставишь полк на дороге. Если не знаешь — ставишь на всех дорогах. Если дорог много — ставишь на главных. И ждёшь.

— А если обойдут?

— Тогда — беда. Потому что степь большая. А людей мало.

Гриша думал об этом долго. Не один день. Как — закрыть степь? Как защитить людей, когда враг быстрее? Как встретить там, где не ждёшь?

Это была его первая тактика. Не из книги. Не из наставления. Из чертежа на холсте, из пальца Олфера, из вопроса «как остановить».

****Сцена 4.** «Полки нового строя»**

В 1632 году, пока Гриша стоял у стены Столовой избы, под Москвой — в сёлах Покровском и Воскресенском — формировались полки нового строя. Солдатские, драгунские, рейтарские. Обучали — иноземцы: полковник Лесли, полковник фон Бокховен, капитан Шац. Русских мужиков и детей боярских — одевали в латы, учили мушкету, строили в ряды. Это — было новое. Невероятное. Бояре — роптали. «Мужик — с ружьём? Боярский сын — в строю, как — холоп? Позор!» Но — царь — решился. Потому что — без нового — не победить.

Гриша — увидел эти полки случайно. Василий Меньшой — поехал в Покровское — по службе, проверять обоз — и взял Гришу. По дороге — в полях, за мещанской слободой — увидели: тысячи людей, в строю, в колоннах. Солдаты — в синих кафтанах, с мушкетами, в шлемах. Драгуны — верхом, с пиками. Рейтары — в латах, с тяжёлыми пистолетами. И — иноземец — рыжий, краснолицый, с хлыстом — орал на солдат. По-немецки. Переводчик — рядом — переводил: «Смирно! Направо! Пали!» Залп — триста мушкетов. Дым — стена. Ряды — стоят. Не дрогнули. Гриша смотрел — и не мог оторвать глаз. Залп ударил так, что земля будто качнулась, а в груди всё сжалось от гула. Дым поднялся стеной, густой, едкий, пахнущий серой и гарью. Сквозь него проступали ровные ряды — и они не рассыпались, не побежали. Стояли, как дубы в бурю.

— Видишь? — тихо сказал Василий Меньшой, чуть наклонившись к Грише. — Вот это и есть сила нового строя. Не один удалец с саблей, а тысяча людей, что делают одно движение разом. Один шаг. Один залп. Как молот.

Гриша кивнул, но слов не нашёл. В его деревне, да и в Иванове, всё было иначе: если драка — то каждый сам за себя, если поход — то, кто как сядет на коня, кто как возьмёт пищаль. А тут — будто не люди, а механизм, железный, холодный, точный. И от этой точности становилось даже жутковато.

Рыжий иноземец, тот самый, что орал по-немецки, теперь ходил вдоль рядов, постукивая хлыстом по голенищу. Лицо у него было красное не только от холода — от злости. Он что-то

резко бросил солдатам, те ответили хором, глухо и ровно, будто вытолкнули слово из груди. Переводчик не понадобился: и так было ясно — это команда, короткая, как удар.

— Полковник фон Бокховен, — шепнул Василий. — Строг, да дело знает. Царь велел таких держать, чтобы русскую пехоту заново учить. Не по старым обычаям, а по-новому, как в Европе.

— А бояре не против? — спросил Гриша, сам удивляясь, что осмелился.

Василий усмехнулся краем рта:

— Против. Ещё как. Говорят: «Позор — мужика в строй ставить, как холопа». Но царь смотрит дальше. Ему не про гордость думать надо, а про Смоленск. Если поляки пойдут — чем встречать? Десятком удалцов? Нет. Тысячей, что шагает в ногу и стреляет разом.

Тут фон Бокховен заметил их. Остановился, прищурился, потом подошёл — не кланяясь, но и не грубо. Кивнул Василию, будто оценивая, и задержал взгляд на Грише.

— Молодой? — спросил он по-русски, хоть и с сильным акцентом. — Смотрит. Это хорошо. Пусть видит, как армия делается.

— Стольник, — коротко ответил Василий. — Учится.

Фон Бокховен хмыкнул:

— Учится... Армия — не грамота. Тут не буквы, тут кровь и порох. Но пусть смотрит. Может, когда-нибудь сам поведет полк.

Он не ждал ответа. Повернулся и пошёл обратно к строю, снова выкрикнул что-то по-немецки — и солдаты, будто пружина сжалась и распрямилась, разом сделали поворот, щёлкнули каблуками, и снова замерли, неподвижные, как из камня высеченные.

Гриша невольно втянул голову в плечи — так это было сильно, так чуждо и в то же время притягательно.

— Поехали, — тихо сказал Василий. — Нам ещё обоз смотреть. Да и тебе хватит на сегодня нового строя.

Они тронулись дальше, шагом, мимо полей, где теперь вместо пашни — плац, вместо бороны — мушкетные линии. Лошади шли спокойно, будто и не замечали всей этой железной суеты, а Гриша всё оглядывался, пока строй не скрылся за поворотом дороги, растворившись в сером ноябрьском воздухе.

Часть 3. «Поручение»

Сцена 1. «Пропаж»

Март 1633 года. Москва — в грязи. Снег сошёл за неделю, дороги — раскисли, телеги — вязли по оси. Ока — вскрылась, лёд пошёл по течению, река — шумная, жёлтая, полная. В Кремле — суэта: Смоленская война — в разгаре, полки — под городом, обозы — идут и идут. Порох, свинец, сухари, сукно — всё через Москву.

Василий Меньшой вернулся домой — мрачный. Не злющий — мрачный. Это — хуже. Когда он злился, кричал, стучал кулаком. Когда мрачнел — молчал. А молчание Василия Меньшого — не как молчание Ивана Молчанки. Иван молчал — потому что не считал нужным говорить. Василий молчал — когда боялся. Гриша — уже выучил эту разницу. Три года — достаточно.

Гриша сидел на лавке, чистил саблю — привычка, от Олфера: каждый вечер, вне зависимости. Клинок — тёмный, уже не детский, новый, побольше — Олфер выменял у кузнеца в Кадашах на два пуда ржи. Не красавец — но — острый, лёгкий, с елманью на конце. Гриша водил брусочком по лезвию — тихо, ровно, шуршанье — как мышь в подклети.

Василий — сел. Налил квасу. Не выпил. Смотрел в кружку.

— Плохи дела, — сказал он. Не Грише — в кружку.

Гриша — не спросил. Ждал. Олфер учил: «Если — молчит — не лезь. Лезть — значит — давить. Давить — нельзя. Жди. Дойдёт — скажет».

Василий — дождался. Сказал.

— Обоз. Из Тушино. Десять возов. Порох — казённый, для смоленского полка. Я — пристав, моя — голова. Пришёл обоз — а двух возов — нет. Мешки — вскрыты. Порох — ушёл. Два воза — пустые.

— Сколько? — спросил Гриша.

— Пудов сорок. Пороху. На сорок пудов — целый полк — три залпа. Это — если — дьяк — узнает.

— А — дьяк?

— Дьяк — узнает. Дьяк — всегда — узнает. Дьяк — Федор Лихачёв. Из Приказа Большого прихода. Человек — холодный, как лёд. Не — злой — дотошный. Он — не спит, пока — не найдёт. И — найдёт. На мне. Потому что — я — пристав. Моя — печать. Моя — голова.

Василий — выпил квас. Один глоток. Поставил кружку. Тяжело.

— Местнический спор — это — полбеда. Беда — если — на царское имя. Порох — казённый. Утрата казны — измена. Или — небрежение. Небрежение — чуть легче. Но — кнут. Или — отставление от службы. А без службы — я — никто. Младший сын. Без вотчины. Без — ничего.

Гриша — слушал. Чистил саблю. Думал.

— Где — обоз — стоял? — спросил он. Тихо, как между делом.

— На постоялом дворе. За Тверскими воротами. «У Прокопия». Знаешь — такой двор.

— Знаю. — Гриша — знал. Не — лично. Слышал. От Олфера. Олфер — знал все постоянные дворы Москвы: где — чисто, где — воруют, где — бани, где — девки, где — безопасно, где — нет. «У Прокопия» — средний. Не — плохой, не — хороший. Возчики — всякие. Конюшня — тесная. Сторож — старый, глухой.

— Когда — пропали?

— Ночью. Обоз — пришёл вечером. Утром — два воза — без пороха. Мешки — резаны. Ножом. Аккуратно. Не — саблей. Ножом. Снизу. Чтобы — не видно было. Возы — крыты рогожей. Сверху — не заметишь. Снизу — подвозишь нож — режешь — сыплешь. В — что?

— В — мешки? В — бочки?

— Неизвестно. Возчики — говорят — не видели. Спали. Пьяны. Все. Хозяин — Прокопий — клянется — не он. Сторож — глухой. Ничего — не слышал.

Гриша — положил саблю. Посмотрел на Василия. Тот — сидел, обхватив голову руками. Тридцати лет. Боярский сын. Стольник. И — боялся. Не врага — своих. Не — меча — бумаги. Бумага — страшнее меча. Меч — рубит. Бумага — казнит.

— Я — схожу, — сказал Гриша.

Василий — поднял голову.

— Куда?

— На постоялый двор. Посмотрю.

— Ты? Мальчишка? Что ты — поймаешь? Что — дьяк — не поймает?

— Дьяк — спросит — в лоб. Мне — можно — мимо.

Василий — смотрел. Долго. Потом — усмехнулся. Невесело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.